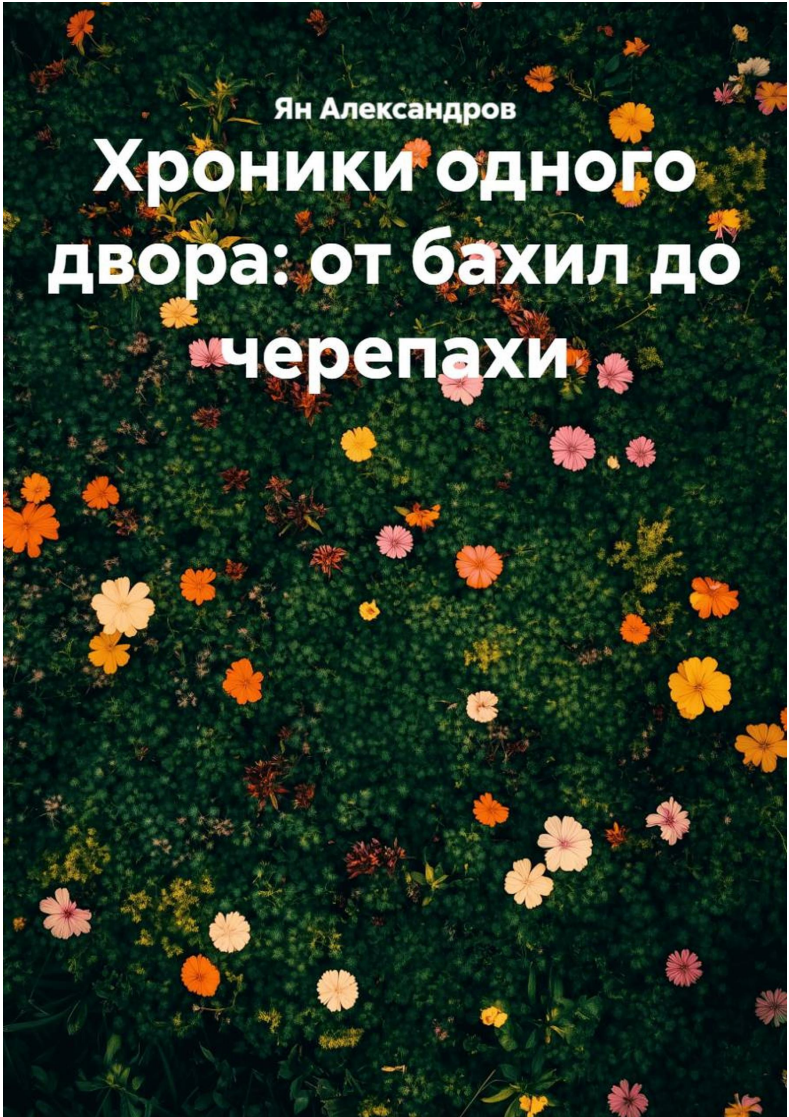

Ян Александров
Хроники одного двора: от бахил до черепахи

Ян Александров

Хроники одного двора: от бахил до черепахи

https://litres.ru/74709988
SelfPub; 2026

Аннотация

Ему пятьдесят. На вид — все шестьдесят пять. У него есть жена, которая командует парадом, орда детей, которые вечно что-то ломают, и дом, в котором никогда не бывает тихо. В аквариуме живёт черепаха Тортилла — философ-стоик, наблюдающий за миром сквозь мутное стекло. В вольере сидит пёс Барбос, который не лает, а с упорством маньяка роняет железную чашку на будку, издавая звук, сравнимый с землетрясением. А в саду две горлицы пытаются построить гнездо — каждая в своём углу, но обязательно наперекор друг другу.

Это не просто книга о жизни в сельской местности. Это толковый словарь ленивого мужика, который пытается понять этот мир (и себя в нём), используя богатейший язык астраханского Понизовья.

Содержание

Глава 1 «Ну ты и бахилы себе отыскал» 4
Глава 2 «Аграханка и другие деликатесы» 9
Глава 3 «Барбос и железная чашка: симфония для двора» 14
Глава 4 «Ловля рыбы, или как Михалыч сбежал от работы» 18
Глава 5 «Горлицы-застройщики» 22
Конец ознакомительного фрагмента. 26

Хроники одного двора: от бахил до черепахи

Глава 1 «Ну ты и бахилы себе отыскал»

Вы когда-нибудь задумывались, почему утро начинается не с кофе, а с крика? Не с нежного воркования горлиц за окном, не с тихого шелеста страниц любимой книги, а с вопля, от которого дребезжат стёкла в серванте? Если да — значит, вы понимаете, что такое *«хавоз»*. Если нет — добро пожаловать в наш двор.

Пятьдесят лет — это странный возраст. В паспорте у тебя ещё «мужчина в самом расцвете сил», а в зеркале — уставший человек, который с утра пораньше пытается вспомнить, где он оставил свои *«бахилы»*. Не те модные ботинки, что жена купила на распродаже, а именно *бахилы* — старые, разношенные, с потёртой подошвой и характером. Они помнят больше, чем некоторые члены семьи. Они видели, как ты в двадцать лет таскал мешки с картошкой, как в тридцать бегал за убежавшей коровой, как в сорок пытался починить телевизор и сломал его окончательно. Эти *бахилы* — не обувь. Это летопись. И сегодня они, как назло, затерялись.

А может, и не затерялись. Может, их утащил пёс Барбос, который в свои собачьи годы всё ещё верит, что старая обувь хозяина — лучшая игрушка. Барбос у нас вообще персонаж особый. Он не лает, как нормальные собаки. Он не скулит, не воет на луну. Он сидит в вольере и с упорством, достойным лучшего применения, роняет свою железную чашку. Не просто роняет — он подкидывает её высоко над собой, а потом с наслаждением смотрит, как она с грохотом падает на землю или на крышу будки. Звук такой, что кажется, будто где-то рядом началась стройка. Или, по крайней мере, землетрясение.

Вот и сейчас. Я лежу в кровати, пытаясь собрать себя в кучу. Тело ноет, голова гудит, а на улице уже раздаётся знакомое: *«БАМ!»*. Потом ещё раз: *«БАМ!»*. Это Барбос. Он нашёл свою чашку и приступил к утренней симфонии. Я закрываю глаза и пытаюсь вспомнить, зачем я вообще согласился на эту жизнь. Ах да, я же её сам выбрал. Когда-то давно, когда был моложе и глупее, я думал: «Заведу собаку, будет друг». Я не учёл одного: у друга будет железная чашка.

В комнату врывается Клавдия. Моя жена. Женщина, которая умеет одним взглядом поднять с кровати даже мёртвого. Она стоит в дверях, уперев руки в бока, и смотрит на меня так, как смотрит на *«беляка»* — того самого зайца, что растянулся на солнце и думает, что его не заметят.

— Михалыч, ты чего разлёгся, как *беляк* на солнце? — говорит она. Голос у неё спокойный, но в нём слышится та

самая интонация, от которой хочется немедленно встать и что-нибудь сделать. — У нас *хавоз* в доме, а он лежит!

«Хавоз» — это не просто беспорядок. Это стихийное бедствие. Это когда дети не могут найти свои тетради, потому что они, видимо, ушли в другое измерение. Это когда на кухне что-то горит, а на столе что-то пролито. Это когда пёс на улице роняет чашку, а черепаха в аквариуме смотрит на всё это с философским спокойствием. В общем, *«хавоз»* — это наша повседневность. И я, лежащий в кровати, — главный виновник этого безобразия.

Я пытаюсь встать. Сначала одна нога, потом другая. Тело сопротивляется, как может. На улице снова: *«БАМ!»*. И тут я не выдерживаю.

— Да я только встал, Клав… — начинаю я, но тут же осекаюсь, потому что вижу, что мои *«бахилы»* стоят в углу, причём один из них перевёрнут, а рядом валяется шнурок. — Ох, *ёкарный бабай*! Опять чашка упала! Барбос, *арбешник*, не греми!

«Ёкарный бабай» — это не просто ругательство. Это состояние души. Это когда ты уже готов ко всему, но всё равно оказываешься не готов. Это когда чашка падает в десятый раз за утро, а ты ещё даже не позавтракал. Это когда жена смотрит на тебя с укором, а дети бегают вокруг, как угорелые. Это когда ты понимаешь, что жизнь — это не про покой, а про умение находить радость в грохоте.

Я наконец натягиваю *«бахилы»*. Они скрипят, но сидят

как влитые. Я делаю шаг. Потом ещё один. И тут из кухни доносится голос Клавдии:

— *Бери слабкую*!

«Бери слабкую» — это не про силу. Это про скорость. Это значит: «Михалыч, шевелись, у нас всё горит». Я вздыхаю и иду на кухню. Навстречу мне бежит младший сын с перепачканным лицом. В руках у него — бутерброд, который он, судя по всему, пытался намазать маслом, но передумал и просто положил сверху колбасу. Он смотрит на меня и улыбается.

— Пап, а Барбос опять чашку уронил, — говорит он.

— Знаю, — отвечаю я. — Я слышал.

— А почему он это делает?

Я задумываюсь. В самом деле, почему? Может, потому что ему скучно? Может, потому что он так выражает свою любовь к миру? А может, потому что железная чашка — единственное, что остаётся неизменным в этом хаосе. Она падает, но не разбивается. Она гремит, но не ломается. Она — как мы. Как наша жизнь. Падаем, гремим, но продолжаем.

Я смотрю на сына и говорю:

— Потому что он пёс. А псы любят грохот.

Сын кивает, будто это самый мудрый ответ на свете, и убегает. А я стою в коридоре, слушаю, как на улице снова падает чашка, как на кухне Клавдия что-то говорит детям, как в аквариуме Тортилла медленно переставляет лапы. И понимаю: это и есть счастье. Не тишина, не покой, не возможность по-

лежать лишние полчаса. А вот этот *хавоз*, этот грохот, эти крики. Это жизнь. И она продолжается.

Глава 2 «Аграханка и другие деликатесы»

Есть у нас в Астраханской области поверье: если хочешь понять жизнь — вставай до рассвета и иди на реку. Не на рынок, не в магазин, не к телевизору. На реку. Потому что река не врёт. Она не льстит, не утешает, не обещает. Она просто течёт — и в этом течении есть больше правды, чем в сотне умных книг. Особенно если ты стоишь на берегу с удочкой в руках, а в ведре у тебя — пусто. Вот тогда-то и начинается настоящая философия.

Философия — это, если по-простому, наука о понимании. Но понимание, друзья мои, бывает разное. Можно понимать формулы, можно — чертежи, а можно — вот эту тишину над водой, когда туман стелется по-над камышом, а где-то в глубине плещется рыба, которую ты никогда не поймаешь. И ты стоишь, смотришь на поплавок и думаешь: «А может, не в рыбе счастье? Может, счастье — вот в этом утре, в этом тумане, в этом покое?» А потом поплавок дёргается, ты подсекаешь — и вытаскиваешь... *пролов*. Пустоту. И понимаешь: нет, всё-таки в рыбе. Но не только.

Я вышел из дома, когда Барбос ещё спал. Это редкое явление — пёс, который не гремит чашкой. Видимо, вчера он

уронил её в очередной раз, она закатилась под будку, и он, утомлённый праведными трудами, заснул прямо на посту. Клавдия спала, дети спали, даже Тортилла, казалось, спала в своём аквариуме, хотя черепахи, как известно, спят всегда и никогда одновременно. Я надел свои *бахилы* — те самые, что скрипят, но сидят как влитые, — взял удочку, ведро и пошёл к реке.

Утро было тихое. Таким бывает только утро в низовьях Волги — когда ещё нет жары, когда воздух свеж и пахнет илом и камышом, когда кажется, что весь мир замер в ожидании. Я дошёл до берега, сел на перевёрнутое ведро, закинул удочку. И начал думать. Ну, как думать? Созерцать. Это когда ты вроде бы ничего не делаешь, но на самом деле работаешь — головой. И вот в этом созерцании я и провёл, наверное, часа два. Поплавок стоял как вкопанный. Рыба не клевала. Вокруг — ни всплеска, ни движения.

«Пролов» — это не просто отсутствие рыбы. Это состояние души. Это когда ты всё сделал правильно: наживку насадил, место выбрал, удочку забросил — а результата нет. И ты сидишь и думаешь: «Может, я не там сижу? Может, не ту наживку взял? Может, рыба сегодня просто не в настроении?» А потом понимаешь: дело не в рыбе. Дело в тебе. В том, что ты слишком многого ждёшь от этого утра. В том, что ты хочешь *большую рыбу*, а получаешь тишину. И в этой тишине — больше смысла, чем в полном ведре. Потому что тишина учит смирению. А смирение — это, если хотите, высшая

форма понимания.

Я вернулся домой с пустым ведром, но с просветлённой душой. И, честно говоря, с чувством лёгкого голода. На кухне меня ждала Клавдия. Она уже хлопотала у плиты, а на столе лежала солёная рыба — та самая, которую я называю *«аграханкой»*. Или *«астраханкой»*, кому как нравится. Это не просто рыба. Это реликвия. Это символ. Это напоминание о том, что жизнь — штука простая, и не надо её усложнять.

— Ну что, рыбак? — спросила Клавдия, не поворачиваясь. — *Большая рыба*?

— *Пролов*, — ответил я честно. — Но зато думал много.

— Думал он, — вздохнула она. — Лучше бы картошку почистил.

Я сел за стол. Взял кусок *аграханки*, отрезал ломоть хлеба. И тут в кухню влетели дети. Сначала старшая, за ней средний, за ним младший. Они окружили стол, как голодные волки, и уставились на рыбу. Я понял: настал момент истины. Пора научить их главному.

— Так, — сказал я строго. — Смотрите. Рыбу надо есть правильно. Не надо её *бармачить*. *Бармачить* — это когда ты хватаешь всё подряд и не чувствуешь вкуса. Надо есть медленно. Вот смотрите.

Я взял кусок, поднёс ко рту и начал жевать с выражением глубокой мудрости на лице. Дети смотрели на меня с восхищением. А потом младший хихикнул. Потом средний. По-

том старшая. И через секунду все трое покатились со смеху.

— Пап, — сквозь смех сказал младший, — у тебя всё лицо в рыбе!

Я посмотрел в зеркало. И правда. Пока я философствовал и жевал с умным видом, *аграханка* каким-то образом оказалась у меня на носу, на щеке, даже на лбу. Я стоял, как индеец с боевой раскраской, и смотрел на себя в зеркало. А дети смеялись. И Клавдия смеялась. И даже Тортилла, казалось, улыбалась — ну, насколько может улыбаться черепаха.

И тут я понял: вот она, настоящая *гальжа*. Не та, что на столе. А та, что в душе. Это когда ты пытаешься быть мудрым, а получается смешно. Это когда ты хочешь научить детей правильному, а они учат тебя смеяться над собой. Это когда вся твоя философия разбивается о кусок солёной рыбы на носу.

Я вытер лицо салфеткой и сказал:

— Ладно. Смейтесь. Но запомните: настоящая еда — она простая. И настоящая жизнь — тоже. И если вы это поймёте, то никакой *пролов* вам не страшен. Даже если весь мир будет смеяться над вами, вы будете знать: это не *вырь* в голове, это просто жизнь.

Дети перестали смеяться. На секунду. А потом младший сказал:

— Пап, а можно я тоже так сделаю?

— Что? — не понял я.

— Ну, измажусь рыбой. Как ты.

Я вздохнул. И кивнул.

— Можно, — сказал я. — Только потом не забудь умыться. А то будешь, как *аграханка* — солёный и смешной.

И знаете что? В этот момент я почувствовал себя счастливым. Потому что счастье — это не полное ведро рыбы. Это когда вся семья сидит за столом, смеётся над твоим перепачканным лицом, а в аквариуме черепаха смотрит на вас с укором. И ты понимаешь: вот оно. Вот та самая *большая рыба*, которую ты искал всю жизнь. Она не в реке. Она здесь. На кухне. Среди этих смеющихся, шумных, любимых людей.

Глава 3 «Барбос и железная чашка: симфония для двора»

Выходишь утром во двор — и первое, что слышишь, это не пение птиц, не шелест листьев, не тихий скрип калитки. Нет. Первое, что ты слышишь, — это *«БАМ!»*. Потом пауза. Потом снова *«БАМ!»*. И так — с завидным постоянством, с ритмом, который мог бы позавидовать любой барабанщик. Это Барбос. Он проснулся. И он нашёл свою чашку.

Вы когда-нибудь задумывались, почему собаки делают то, что они делают? Вот, казалось бы, что может быть проще: есть, спать, гавкать на почтальона. Но Барбос — не просто собака. Барбос — это философ. И его философия проста: если у тебя есть железная чашка, ты должен её ронять. Не просто держать в зубах, не просто грызть, а именно подкидывать высоко над собой и смотреть, как она с грохотом падает на землю. Это его способ сказать миру: «Я здесь. Я жив. И я не сдаюсь».

Я стоял на крыльце, пил чай и наблюдал за этим представлением. Барбос сидел в вольере, держал чашку в зубах, смотрел на меня с выражением глубочайшей сосредоточенности — и отпускал. Чашка летела вверх, описывала дугу и с грохотом приземлялась на бетонный пол. Барбос смотрел на неё, как скульптор на своё творение, потом поднимал, снова

подкидывал. И так — до бесконечности.

— Ты понимаешь, что он делает? — спросил я у Клавдии, которая вышла на крыльцо с чашкой кофе.

— Понимаю, — сказала она. — Он тебя копирует.

— Меня?

— А кто у нас вчера весь вечер ронял ключи, а потом полчаса их искал? Кто в прошлом месяце уронил телевизор? Кто, в конце концов, каждый день роняет свои *бахилы*, когда пытается их надеть?

Я задумался. В её словах была логика. Неприятная, но логика. Барбос действительно копировал меня. Он смотрел, как я живу, и повторял. Только у меня это получалось случайно, а у него — системно. Он возвёл мою неловкость в искусство. И, честно говоря, я был ему за это благодарен. Потому что если уж ронять чашку, то с таким упорством, с такой страстью, с такой преданностью делу — это уже не недостаток. Это стиль.

Но не только Барбос был в центре внимания. В саду творилось что-то неладное. Там, среди черешни и смородины, две горлицы — важные, надутые, с видом английских лордов — пытались построить гнездо. И не просто построить. Они пытались построить его *вместе*. А это, как вы понимаете, задача не из лёгких. Особенно когда у каждого своё мнение на этот счёт.

Первая горлица — назовём её Леди — облюбовала кусок гофрированной трубы, в которой мирно покоился электри-

ческий шнур от фекального насоса. Место, на её взгляд, было идеальным: уютно, защищено, с видом на забор. Вторая горлица — назовём его Сэр — выбрал черешню. Высоко, светло, романтично. И началось. Леди тащила веточки в трубу, Сэр тащил веточки на черешню. Они встречались на полпути, смотрели друг на друга и... начинали драться.

Это было похоже на *«бежное крыло»* — то самое, которое в неводе летит не туда, куда надо. Всё у них шло не по плану. Веточки падали, труба гудела, черешня качалась. А они — *гордные* — не уступали. Каждый был уверен, что прав. Каждый считал, что именно его место — лучшее. И никто не хотел уступать.

Я подошёл ближе, чтобы разнять их. Ну, как разнять? Я же не орнитолог. Я просто мужик, который хочет, чтобы в саду было тихо. Но не тут-то было. Они посмотрели на меня — оба сразу, синхронно — и в их взглядах читалось столько презрения, что я почувствовал себя *встречником*. Тем самым, кто мешает, кто лезет не в своё дело, кто нарушает их птичью идиллию. Я отступил.

— Ну и ладно, — сказал я. — Деритесь. Только гнездо потом не в моём валенке вьйте.

Они не ответили. Они вообще меня не слушали. Они были заняты друг другом. И в этой драке, в этом споре за место под солнцем, было что-то до боли знакомое. Что-то очень человеческое.

Я вернулся на крыльцо, сел на ступеньку. Барбос снова

уронил чашку. Горлицы снова сцепились. Клавдия ушла в дом. А я сидел и думал: вот она, жизнь. Каждый из нас — немного Барбос. Каждый роняет свою чашку, чтобы напомнить миру о себе. Каждый из нас — немного горлица. Каждый ищет своё место и не хочет уступать. И каждый из нас — немного *встречник*. Мы мешаем друг другу, мы спорим, мы деремся. Но именно в этом споре, в этом грохоте, в этом хаосе и рождается что-то важное. Что-то, что делает нас живыми.

Я посмотрел на Барбоса. Он снова подкинул чашку. Она взлетела высоко-высоко, блеснула на солнце и с грохотом упала. Барбос посмотрел на неё, потом на меня. И в его глазах было столько гордости, столько счастья, что я не выдержал. Я встал, подошёл к вольеру, открыл дверцу и сказал:

— Ладно, философ. Иди сюда.

Он выскочил, как молния, и бросился ко мне. Чашка осталась лежать на полу. Но это было неважно. Важно было то, что он рядом. Важно было то, что мы вместе. Важно было то, что даже в этом грохоте, в этом хаосе, в этом бесконечном *«БАМ!»* есть что-то очень тёплое. Что-то, что называется домом.

А горлицы? Они так и не помирились. Леди осталась в трубе, Сэр — на черешне. Они построили два гнезда. И, честно говоря, я их понимаю. Иногда, чтобы быть вместе, нужно сначала найти своё место. Даже если это место — кусок гофрированной трубы с электрическим шнуром.

Глава 4 «Ловля рыбы, или как Михалыч сбежал от работы»

Лень — это не порок. Это двигатель прогресса. Я в этом убеждён давно, ещё с тех пор, как впервые попытался увернуться от уборки картошки. Тогда мне было лет десять, и я притворился, что у меня болит живот. Мама поверила, оставила меня дома. Я лежал на диване, ел печенье и смотрел в окно, как вся семья копается в огороде. И знаете что? Я чувствовал себя гением. Потому что понял: если ты не хочешь что-то делать, ты всегда найдёшь способ. Главное — чтобы этот способ был убедительным.

С годами это понимание только крепло. Я научился находить оправдания, которые звучали настолько правдоподобно, что даже Клавдия иногда верила. Но с возрастом лень стала не просто способом избежать работы. Она стала философией. Потому что лень — это не отсутствие желания что-то делать. Это желание делать что-то другое. Что-то более важное. Например, думать. Или смотреть на воду. Или просто быть.

Вот и в этот раз я решил, что пора заняться *глубевым ловом*. Не тем, что на глубине реки, а тем, что в глубине души. Мне нужно было время подумать. О жизни, о себе, о том, почему я всё ещё не стал тем, кем хотел стать. И лучше ме-

ста, чем лодка на реке, для этого не найти.

Но перед тем как отправиться на рыбалку, нужно было решить одну проблему. Утром Клавдия объявила: «Сегодня убираем лук». Лук — это святое. Это не просто овощ, это стратегический запас на зиму. Но убирать его — это ад. Спина болит, руки в земле, солнце печёт, и кажется, что ты попал в какой-то древний ритуал, где нужно перекопать поле голыми руками. Я посмотрел на гору лука, потом на Клавдию, потом снова на лук. И понял: надо срочно что-то придумать.

И тут меня осенило. Я вспомнил, что в сарае лежат оранжевые упаковочные сетки от картошки. Те самые, в которых продают овощи в супермаркетах. Я схватил несколько штук, натянул их на руки и на ноги, обмотал вокруг пояса и вышел во двор. Клавдия посмотрела на меня и обомлела.

— Михалыч, ты чего? — спросила она.

— Это спецодежда, — ответил я гордо. — Для уборки лука. Защита от грязи и солнца.

Дети высыпали во двор. Они смотрели на меня, как на инопланетянина. Младший даже спросил:

— Пап, ты кто?

— Я — *попуас*, — ответил я. — Только в *бахилах* и с российским паспортом.

Клавдия засмеялась. Дети засмеялись. Я тоже засмеялся. А потом, пока все смеялись, я тихонько снял сетки, отложил лопату и пошёл к лодке. Побег удался.

Река встретила меня тишиной. Я сел в лодку, взял весло

и начал *базанить* — не грести в полную силу, а так, слегка, чтобы лодка просто двигалась по течению. Это была не рыбалка. Это была медитация. Я смотрел на воду, на камыш, на облака, которые медленно плыли по небу. И думал.

О чём думает мужик в пятьдесят лет, когда остаётся один на один с рекой? О разном. О том, что жизнь прошла как-то слишком быстро. О том, что дети выросли (или ещё растут, но уже не так, как раньше). О том, что Клавдия всё ещё рядом, и это, наверное, главное. О том, что хотелось бы оставить после себя что-то важное. Ну, кроме *бахил* и *аграханки*. О том, что счастье — это не когда всё есть, а когда тебе нечего больше хотеть. Или есть, но не очень сильно.

Зазвонил телефон. Клавдия. Я посмотрел на пустое ведро, потом на телефон, потом снова на ведро. И ответил.

— Ну что, рыбак? — спросила она. — *Большая рыба*?

Я посмотрел на воду, на камыш, на облака. И сказал:

— *В пролове*.

— В чём? — не поняла она.

— В пролове, — повторил я. — Это значит, что рыбы нет. Но я есть. И это тоже неплохо.

Клавдия помолчала. А потом сказала:

— Ладно. Возвращайся. Уха уже готова.

— А лук?

— Убрали без тебя. Дети помогли. Говорят, что *попуас* сбежал, и им пришлось отдуваться.

Я улыбнулся. И понял: вот она, жизнь. Ты сбегаешь от ра-

боты, а работа всё равно делается. Ты едешь на рыбалку, а рыбы нет. Ты хочешь побыть один, а тебе звонят. И в этом хаосе, в этом *пролове*, в этой ухе, которая уже готова, есть что-то очень правильное. Что-то, что называется домом.

Я развернул лодку и поплыл обратно. Вёсла скрипели, вода журчала, *бахилы* стояли в лодке и ждали меня. А я думал: может, не в рыбе счастье? Может, счастье — вот в этом возвращении? Когда тебя ждут. Когда тебе звонят. Когда уха готова. И даже если ты ничего не поймал, ты всё равно возвращаешься с чем-то важным. С пониманием.

А вечером, когда мы сидели за столом и ели уху, я рассказал детям про *багрение*. Не про то, что на реке, а про то, что в жизни. *Багрение* — это когда ты пытаешься зацепить что-то важное, но оно ускользает. Когда ты хочешь поймать момент, но он проходит мимо. И тогда ты понимаешь: не надо ничего цеплять. Надо просто быть. И тогда всё само придёт. Даже *большая рыба*. Даже если она не в ведре, а в душе.

Глава 5 «Горлицы-застройщики»

Есть в природе сила, которая не подчиняется ни человеку, ни закону, ни здравому смыслу. Это горлицы. Маленькие, серые, с виду — воплощение кротости и смирения. Но только с виду. На самом деле, горлица — это птица с амбициями застройщика, волей революционера и полным отсутствием чувства самосохранения. И если она решила свить гнездо — остановить её может только стихийное бедствие. Или Клавдия. Но Клавдия была занята.

Всё началось с того, что Леди — та самая горлица, что облюбовала гофрированную трубу с электрическим шнуром от фекального насоса, — решила, что труба — это не просто укрытие. Это дом. Настоящий. С окнами, дверями и видом на забор. Она таскала туда веточки, травинки, какие-то перья и, кажется, даже клочок газеты. И всё бы ничего, но труба была не просто трубой. Это было хранилище. Защита от влаги. Место, где мирно покоился электрический шнур, который, если его повредить, мог устроить нам весёлый вечер с фейерверком.

Я подошёл к трубе, заглянул внутрь. Леди сидела на своём будущем гнезде и смотрела на меня с вызовом. Мол, это моя территория. Не лезь. Я попытался объяснить ей, что это не дом. Что это труба. Что внутри шнур. Что если она будет там вить гнездо, то может случиться беда. Но она меня не

слушала. Она вообще меня не слушала. Она смотрела сквозь меня, как будто я был пустым местом.

А вторая горлица — Сэр — выбрал мои *бахилы*. Те самые, что стоят в углу сарая и ждут своего часа. Он затащил в них веточки, уселся сверху и посмотрел на меня с таким видом, будто это он тут хозяин. Я попытался забрать *бахилы*. Он зашипел. Горлицы, оказывается, умеют шипеть. Кто бы мог подумать.

— Это не дом! — сказал я ему. — Это *бахилы*! Обувь! Понимаешь? Обувь!

Он не понимал. Он смотрел на меня и, кажется, думал: «Какой же ты *балбера*, хозяин. Это не обувь. Это гнездо. Моё гнездо. И ты мне мешаешь».

Я стоял посреди сарая, смотрел на горлицу в *бахилах*, на горлицу в трубе, и чувствовал себя дураком. Полным. Абсолютным. *Балбера* — это не просто глупость. Это состояние. Это когда ты понимаешь, что мир устроен не так, как ты думал. Что птицы умнее тебя. Что твои *бахилы* — уже не твои. Что ты — пустое место.

Я вышел из сарая. Сел на крыльцо. Барбос подошёл, сел рядом, положил голову мне на колени. Он не ронял чашку. Он просто сидел. И это было приятно. Потому что в отличие от горлиц, он меня слышал. Он меня понимал. Он знал, что я — не пустое место. Я — его хозяин. И даже если весь мир решил, что мои *бахилы* — это гнездо, Барбос знал правду.

Я посмотрел на небо. Там, в вышине, кружили ещё две

горлицы. Они искали место для гнезда. И я понял: это не конец. Это только начало. Скоро они найдут мою шляпу. Потом — ведро. Потом — лодку. И тогда мне придётся смириться с тем, что я живу не в доме, а в гостинице для птиц.

Клавдия вышла на крыльцо.

— Ты чего сидишь? — спросила она.

— Думаю, — ответил я.

— О чём?

— О том, что горлицы вьют гнездо в моих *бахилах*. И в трубе с электрическим шнуром.

Клавдия помолчала. А потом сказала:

— Ну и пусть вьют. Может, хоть птенцы выведутся. А ты пока найдёшь себе новые *бахилы*.

Я посмотрел на неё. И понял: она права. В конце концов, что такое *бахилы*? Это просто обувь. А гнездо — это дом. Пусть даже в трубе. Пусть даже в *бахилах*. Пусть даже *вразгонку* — вразброс по всему сараю. Главное, что где-то кто-то строит свой маленький мир. И если для этого нужно моё пустое место — что ж. Я готов быть пустым местом. Ради такого дела.

А вечером я наблюдал, как Леди и Сэр сидели каждый в своём гнезде — одна в трубе, другой в *бахилах* — и смотрели друг на друга. Они не дрались. Они просто смотрели. И в этом взгляде было что-то очень важное. Что-то, что называется пониманием. Даже если они не понимали друг друга. Даже если они были *вразгонку*. Они были вместе. В этом

дворе. В этом мире. В этой жизни.

И я подумал: может, и мы так? Может, и мы вьём свои гнёзда где попало, спорим, деремся, не слышим друг друга. Но всё равно остаёмся вместе. В одном дворе. Под одним небом. И это — главное. Остальное — *балбера*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.